# Представление

***Михаилу Николаеву

Председатель Совнаркома, Наркомпроса, Мининдела!
Эта местность мне знакома, как окраина Китая!
Эта личность мне знакома! Знак допроса вместо тела.
Многоточие шинели. Вместо мозга — запятая.
Вместо горла — темный вечер. Вместо буркал — знак деленья.
Вот и вышел человечек, представитель населенья.

Вот и вышел гражданин,
достающий из штанин.

‘А почем та радиола?’
‘Кто такой Савонарола?’
‘Вероятно, сокращенье’.
‘Где сортир, прошу прощенья?’

Входит Пушкин в летном шлеме, в тонких пальцах — папироса.
В чистом поле мчится скорый с одиноким пассажиром.
И нарезанные косо, как полтавская, колеса
с выковыренным под Гдовом пальцем стрелочника жиром
оживляют скатерть снега, полустанки и развилки
обдавая содержимым опрокинутой бутылки.

Прячась в логово свое
волки воют ‘і-мое’.

‘Жизнь — она как лотерея’.
‘Вышла замуж за еврея’.
‘Довели страну до ручки’.
‘Дай червонец до получки’.

Входит Гоголь в бескозырке, рядом с ним — меццо-сопрано.
В продуктовом — кот наплакал; бродят крысы, бакалея.
Пряча твердый рог в каракуль, некто в брюках из барана
превращается в тирана на трибуне мавзолея.
Говорят лихие люди, что внутри, разочарован
под конец, как фиш на блюде, труп лежит нафарширован.

Хорошо, утратив речь,
встать с винтовкой гроб стеречь.

‘Не смотри в глаза мне, дева:
все равно пойдешь налево’.
‘У попа была собака’.
‘Оба умерли от рака’.

Входит Лев Толстой в пижаме, всюду — Ясная Поляна.
(Бродят парубки с ножами, пахнет шипром с комсомолом.)
Он — предшественник Тарзана: самописка — как лиана,
взад-вперед летают ядра над французским частоколом.
Се — великий сын России, хоть и правящего класса!
Муж, чьи правнуки босые тоже редко видят мясо.

Чудо-юдо: нежный граф
превратился в книжный шкаф!

‘Приучил ее к минету’.
‘Что за шум, а драки нету?’
‘Крыл последними словами’.
‘Кто последний? Я за вами’.

Входит пара Александров под конвоем Николаши.
Говорят ‘Какая лажа’ или ‘Сладкое повидло’.
По Европе бродят нары в тщетных поисках параши,
натыкаясь повсеместно на застенчивое быдло.
Размышляя о причале, по волнам плывет ‘Аврора’,
чтобы выпалить в начале непрерывного террора.

Ой ты, участь корабля:
скажешь ‘пли!’ — ответят ‘бля!’

‘Сочетался с нею браком’.
‘Все равно поставлю раком’.
‘Эх, Цусима-Хиросима!
Жить совсем невыносимо’.

Входят Герцен с Огаревым, воробьи щебечут в рощах.
Что звучит в момент обхвата как наречие чужбины.
Лучший вид на этот город — если сесть в бомбардировщик.
Глянь — набрякшие, как вата из нескромныя ложбины,
размножаясь без резона, тучи льнут к архитектуре.
Кремль маячит, точно зона; говорят, в миниатюре.

Ветер свищет. Выпь кричит.
Дятел ворону стучит.

‘Говорят, открылся Пленум’.
‘Врезал ей меж глаз поленом’.
‘Над арабской мирной хатой
гордо реет жид пархатый’.

Входит Сталин с Джугашвили, между ними вышла ссора.
Быстро целятся друг в друга, нажимают на собачку,
и дымящаяся трубка… Так, по мысли режиссера,
и погиб Отец Народов, в день выкуривавший пачку.
И стоят хребты Кавказа как в почетном карауле.
Из коричневого глаза бьет ключом Напареули.

Друг-кунак вонзает клык
в недоеденный шашлык.

‘Ты смотрел Дерсу Узала?’
‘Я тебе не все сказала’.
‘Раз чучмек, то верит в Будду’.
‘Сукой будешь?’ ‘Сукой буду’.

Входит с криком Заграница, с запрещенным полушарьем
и с торчащим из кармана горизонтом, что опошлен.
Обзывает Ермолая Фредериком или Шарлем,
придирается к закону, кипятится из-за пошлин,
восклицая: ‘Как живете!’ И смущают глянцем плоти
Рафаэль с Буонаротти — ни черта на обороте.

Пролетарии всех стран
Маршируют в ресторан.

‘В этих шкарах ты как янки’.
‘Я сломал ее по пьянке’.
‘Был всю жизнь простым рабочим’.
‘Между прочим, все мы дрочим’.

Входят Мысли о Грядущем, в гимнастерках цвета хаки.
Вносят атомную бомбу с баллистическим снарядом.
Они пляшут и танцуют: ‘Мы вояки-забияки!
Русский с немцем лягут рядом; например, под Сталинградом’.
И, как вдовые Матрены, глухо воют циклотроны.
В Министерстве Обороны громко каркают вороны.

Входишь в спальню — вот те на:
на подушке — ордена.

‘Где яйцо, там — сковородка’.
‘Говорят, что скоро водка
снова будет по рублю’.
‘Мам, я папу не люблю’.

Входит некто православный, говорит: ‘Теперь я — главный.
У меня в душе Жар-птица и тоска по государю.
Скоро Игорь воротится насладиться Ярославной.
Дайте мне перекреститься, а не то — в лицо ударю.
Хуже порчи и лишая — мыслей западных зараза.
Пой, гармошка, заглушая саксофон — исчадье джаза’.

И лобзают образа
с плачем жертвы обреза…

‘Мне — бифштекс по-режиссерски’.
‘Бурлаки в Североморске
тянут крейсер бечевой,
исхудав от лучевой’.

Входят Мысли о Минувшем, все одеты как попало,
с предпочтеньем к чернобурым. На классической латыни
и вполголоса по-русски произносят: ‘Все пропало,
а) фокстрот под абажуром, черно-белые святыни;
б) икра, севрюга, жито; в) красавицыны бели.
Но — не хватит алфавита. И младенец в колыбели,

слыша ‘баюшки-баю’,
отвечает: ‘мать твою!’ ‘.

‘Влез рукой в шахну, знакомясь’.
‘Подмахну — и в Сочи’. ‘Помесь
лейкоцита с антрацитом
называется Коцитом’.

Входят строем пионеры, кто — с моделью из фанеры,
кто — с написанным вручную содержательным доносом.
С того света, как химеры, палачи-пенсионеры
одобрительно кивают им, задорным и курносым,
что врубают ‘Русский бальный’ и вбегают в избу к тяте
выгнать тятю из двуспальной, где их сделали, кровати.

Что попишешь? Молодежь.
Не задушишь, не убьешь.

‘Харкнул в суп, чтоб скрыть досаду’.
‘Я с ним рядом срать не сяду’.
‘А моя, как та мадонна,
не желает без гондона’.

Входит Лебедь с Отраженьем в круглом зеркале, в котором
взвод берез идет вприсядку, первой скрипке корча рожи.
Пылкий мэтр с воображеньем, распаленным гренадером,
только робкого десятку, рвет когтями бархат ложи.
Дождь идет. Собака лает. Свесясь с печки, дрянь косая
с голым задом донимает инвалида, гвоздь кусая:

‘Инвалид, а инвалид.
У меня внутри болит’.

‘Ляжем в гроб, хоть час не пробил!’
‘Это — сука или кобель?’
‘Склока следствия с причиной
прекращается с кончиной’.

Входит Мусор с криком: ‘Хватит!’ Прокурор скулу квадратит.
Дверь в пещеру гражданина не нуждается в ‘сезаме’.
То ли правнук, то ли прадед в рудных недрах тачку катит,
обливаясь щедрым недрам в масть кристальными слезами.
И за смертною чертою, лунным блеском залитою,
челюсть с фиксой золотою блещет вечной мерзлотою.

Знать, надолго хватит жил
тех, кто головы сложил.

‘Хата есть, да лень тащиться’.
‘Я не блядь, а крановщица’.
‘Жизнь возникла как привычка
раньше куры и яичка’.

Мы заполнили всю сцену! Остается влезть на стену!
Взвиться соколом под купол! Сократиться в аскарида!
Либо всем, включая кукол, языком взбивая пену,
хором вдруг совокупиться, чтобы вывести гибрида.
Бо, пространство экономя, как отлиться в форму массе,
кроме кладбища и кроме черной очереди к кассе?

Эх, даешь простор степной
без реакции цепной!

‘Дайте срок без приговора!’
‘Кто кричит: ‘Держите вора!’?’
‘Рисовала член в тетради’.
‘Отпустите, Христа ради’.

Входит Вечер в Настоящем, дом у чорта на куличках.
Скатерть спорит с занавеской в смысле внешнего убранства.
Исключив сердцебиенье — этот лепет я в кавычках —
ощущенье, будто вычтен Лобачевский из пространства.
Ропот листьев цвета денег, комариный ровный зуммер.
Глаз не в силах увеличить шесть-на-девять тех, кто умер,

кто пророс густой травой.
Впрочем, это не впервой.

‘От любви бывают дети.
Ты теперь один на свете.
Помнишь песню, что, бывало,
я в потемках напевала?

Это — кошка, это — мышка.
Это — лагерь, это — вышка.
Это — время тихой сапой
убивает маму с папой’.***